

TARTU ÜLIKOOLI  
VENE KIRJANDUSE KATEEDER  
КАФЕДРА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И  
СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ  
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

III

К 40-летию "Тартуских изданий"

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ III



ISSN 1024-3698

ТАРТУ 1999

## ВОСТОРГ ИСТОРИКА (Ломоносов в полемике с Миллером)

ЕЛЕНА ПОГОСЯН

Пolemика Ломоносова и Миллера “о происхождении имени и народа российского” — один из самых известных эпизодов в истории русской культуры XVIII века. В работах последних лет много сделано по уточнению характера и причин этой полемики. В целом ряде работ конфликт Миллера и Ломоносова рассматривается не только как результат дискуссии по “варяжскому вопросу”: внимание исследователей привлекает, в первую очередь, проблема идеологического давления на историка в России середины XVIII в. Так, А. Б. Каменский пишет: «Для Миллера была важна прежде всего научная истина, в то время как Ломоносов видел в “норманском вопросе” аспект политический, связанный, как ему казалось, с ущемлением национального достоинства. <...> Дело было именно в понимании научной истины и ее значения. По мнению Миллера, она не должна была зависеть от политических пристрастий и конъюнктуры»<sup>1</sup>.

Обе поставленные Каменским проблемы — и “политический аспект”, и “понимание научной истины” — требуют детального рассмотрения, уже хотя бы потому, что взаимные обвинения Ломоносова и Миллера в этих вопросах практически совпадают. Так, Каменский приводит слова Ломоносова о том, что историографом должен быть “человек надежный и верный и для того нарочно присягнувший”, “природный россиянин” (X, 148–149). Но и Миллер не оставался в долгу. Он писал: “Удивительно, до какой степени Ломоносов презирает местные исторические свидетельства, которые вообще высоко ценятся людьми, интересующимися историей отечества. <...> Ломоносов же пренебрегает ими <...> следуя чуждому примеру

*иностранных писателей, недостаточно осведомленных о русских делах <...>. Судите, граждане, поступает ли он так из любви к истине или, скорее, увлеченный и ослепленный жадной противоречия, издевается таким образом над своим отечеством”* (VI, 44–45). Что же касается рассуждений Миллера о научной истине, которые приводит Каменский, то, как мы увидим в дальнейшем, и Ломоносов обвиняет своего противника в отсутствии научного анализа исторического факта. То есть оба историка в процессе полемики обвиняют друг друга и в отступлении от правил научной аргументации, и в отсутствии истинного патриотизма.

Тот факт, что в ходе полемики идеологическое давление было важным фактором, отрицать не приходится. Ломоносов писал свои “Возражения” по “указу ея величества, данному из Канцелярии Академии Наук” — “в котором указе особливо требуется, что нет ли” в диссертации Миллера “чего предосудительного России” (VI, 25)<sup>2</sup>. Сама полемика, однако, была заявлена как полемика по вопросам *историографии* России. Остановимся поэтому подробнее на одном ее эпизоде, который, как кажется, довольно отчетливо демонстрирует позицию Ломоносова как историка и его представление о происхождении “заблуждений” Миллера.

В “Возражениях на диссертацию Миллера”, поданных Ломоносовым 3 ноября 1749 г. (это был второй, развернутый вариант возражений), второй пункт был посвящен “Бейеровой диссертации о варягах” (сочинению “О варягах” Т. З. Байера, состоявшего на службе в Петербургской Академии наук до своей смерти в 1738 г.)<sup>3</sup>. Миллер ссылаясь на этот труд, и Ломоносов дает разбор ряда положений этой диссертации — “догадок, которые господин Миллер взял от Бейера”: “что варяги <...> были скандинавы, то есть шведы”, что апостол Андрей Первозванный не был “в земли Российской для проповеди евангелия” и др. (VI, 32). Poleмизируя с Байером, Ломоносов пишет:

“Мне кажется, что он <Байер. — Е. П.> немало походит на некоторого *идольского жреца*, который, *окурился беленою и дурманом* и скорым на одной ноге вертением закрутив свою голову,

дает сумнительные, темные, непонятные и совсем дикие ответы. И потому недивно, что он сам с собою несогласен. Всего несноснее, что он в таком своем исступлении или палочуестве опровергает основание, на котором утверждено важное Петра Великого учреждение, то есть орден святого апостола Андрея Первозванного; ибо Бейер то явно отрицает, что святой апостол Андрей Первозванный был в земли Российской для проповеди евангелия. Жаль, что в то время не было такого человека, который бы поднес ему к носу такой химический состав, от чего бы он мог очнуться. Господин Миллер поступает в том осторожнее" (VI, 31–32).

Здесь Ломоносов иронически описывает процесс "исторических разысканий" Байера, но речь идет о "Бейеро-Миллеровых догадках": метод и Байера, и Миллера оказывается не работой историка, а гаданием "идольского жреца". Результат гаданий — "дикие ответы", полные внутренних противоречий ("сам с собою несогласен").

Происхождение и смысл этого сравнения, по-видимому, не сводимы к одному источнику или одному ряду ассоциаций.

Так, можно предположить, что Ломоносов сравнивает "полоумного" историка именно с языческим жрецом с целью намекнуть на активное участие Байера в кружке, который сложился в Петербургской Академии наук вокруг Делиля (сюда входили Байер, Бернулли, Эйлер, Миллер, Тредиаковский, А. Кантемир и др.).

Делиль приехал в Петербург с планом создания генеральной истории астрономии. "Он отдавал себе отчет и в том, — указывает Н. И. Невская, — что на формирование космологических взглядов общества на протяжении всей его истории активно влияли также религиозные представления <...>. Делиль считал необходимым излагать историю астрономии вместе с историей всех мировых религий"<sup>1</sup>. Особое место в изучении истории религий заняли разыскания участников кружка (в том числе Миллера, Тредиаковского, Кантемира), которые были собраны в книге Байера "Китайский музей". «Несмотря на заглавие книги "Китайский музей" обзор не ограничивался только историей китайской науки, но охватывал также и науку Индии, Индокитая, стран Аравийского полуострова, Малой и

Средней Азии». Свои положения "авторы коллективного труда, подписанного Байером, решили проиллюстрировать примерами из истории древних религий, показав, как в древности люди обожествляли полезные им неодушевленные предметы и животных"<sup>2</sup>.

Книга была с восторгом принята читателями. Но "уже первые читатели-специалисты, французские миссионеры, работавшие в Пекине, подвергли уничижающей критике <...> многочисленные домыслы по поводу этимологии различных слов и географических названий"<sup>3</sup>. Показательно, что Ломоносов критикует труд Байера "О варягах" в том же ключе: "последуя своей фантазии", Байер "перевертывал весьма смешным и непозволенным образом" имена русских князей (Валмар вместо Владимира, Аллогия вместо Ольги, Визавалдур вместо Всеволода); кроме того, Байер доказывал, что "русские" названия Днепровских порогов суть не "славянского" происхождения и т. п. (VI, 31–32).

Десятилетнее пребывание в Сибири в составе Камчатской экспедиции позволило Миллеру собрать уникальные материалы, которые легли в основу его трудов по истории и этнографии Сибири и Поволжья. Кроме "Истории Сибири" и "Описания живущих в Казанской губернии языческих народов" (к которому мы обратимся ниже), а также серии публикаций в "Ежемесячных сочинениях", Миллер составил "Известия о якутах и их шаманах...", которые, как и ряд других материалов экспедиции, где речь идет о языческих ритуалах сибирских народов, до сих пор не опубликованы<sup>4</sup>. Не вызывает сомнений, что этнографические интересы Миллера сформировались именно в кружке Делиля и под сильным влиянием Байера.

Однако в описании жреца у Ломоносова можно увидеть не только намек на особый интерес Миллера к языческим ритуалам "диких" народов, населяющих окраины Российской империи (Ломоносов называл их "сибирские подданные языческие народы" — VI, 498), но и иронический пересказ эпизода одного из сочинений самого Миллера.

Миллер в "Описании живущих в Казанской губернии языческих народов" (составленном, по указанию автора, "по возвращении <...> в 1743 году из Камчатской экспедиции"<sup>8</sup>) рассказывал не только о ритуалах языческих жрецов, но и о том, как он сам по пути в Сибирь участвовал в одном из них. "Вотяцкие ворожеи, — пишет он, — больше ворожат нюхательным табаком, который в руках держат, или наливши в чарку вина мешают оное мешалкою, или ножом скоро". И продолжает: "В некоторой Вотяцкой деревне имел я случай видеть Вотяцкого Тону и сделать опыты над их колдовством". Для того, чтобы увидеть ритуал гадания, Миллер сказал жрецу, что ямщики украли у него дорогую вещь и что он хотел узнать имя вора. "По сем попросил он у меня, — продолжает Миллер, — несколько нюхательного *табаку* и взявши оной в левую руку пальцами кругом тер, а при том несколько пособлял к растиранию онаго пальцами и правой руки". В результате гадания последовал ответ, что вещь была забыта на предыдущей станции. Потом Миллер стал просить вылечить его, и "Тона" после уговоров "попросил с *вином* чарки". После заклинаний и помешивания вина ножом, Миллеру было предложено его выпить. "Токмо я не мог себя принудить, чтобы выпить оное вино, но просил, дабы он сам вместо меня выпил, что он охотно и учинил". "По всему вышеописанному явствует не что иное, — заключает Миллер, — как крайнее невежество, или вероятнее сказать, обманство сего народа"<sup>9</sup>.

Ломоносовское описание историка-жреца, таким образом, намекает не только на "сибирский опыт" Миллера<sup>10</sup>, но и на факт использования в "шаманских" ритуалах наркотических веществ ("вино" и "табак" у Миллера, белена и дурман в описании Ломоносова; предшественник Миллера, первый историк Сибири Юрий Крижанич в своем сочинении указывал, что в качестве наркотического средства в Сибири использовался именно табак, причем как напиток<sup>11</sup>).

Описание "полоумия" историка у Ломоносова включает в себя отсылки и к совсем иному ряду. Труд Миллера "О пропехождении имени и народа Российского" в целом Ломоносов настойчиво характеризует как недоступный для понимания: он

"весьма темен", "темной ночи подобен", в нем "переплетены непорядочные расположения", "нелюбимости и вещи, нагроможденные без всякой связи" (VI, 24, 20, 52). Миллер не следует никаким процедурам доказательства своих положений, но строит повествование (так же, как языческий жрец) на "догадках": словом "*догадка*" Ломоносов характеризует построения Миллера десятки раз (VI, 24, 32, 33, 39, 40, 42 и др.).

И эти характеристики, и описание "исступления или полоумства" историка отсылают к описаниям поэтического восторга, которые мы находим как в трудах русских поэтов XVIII в., посвященных теории оды, так и в самих одах<sup>12</sup>. Приведем здесь несколько примеров, которые должны были быть хорошо известны участникам полемики.

В "Рассуждении об оде вообще" В. К. Тредиаковский, характеризуя Пиндара и Горация, которые дали примеры образцовой оды, писал: "Они только одни умели сочинять толь чудесно, когда, чтоб изъяснить *разум* свой, как будто б он *был вне себя*, прерывали с умысла последование своея речи; и дабы лучше войти в разум, выходили <...> из самого разума удаляясь с великим старанием от того порядка методичнаго, и исправнаго связания Сенса"<sup>13</sup>. Нарушение правил "связания Сенса" Тредиаковский связывает с поэтическим восторгом, который охватывает истинного поэта вопреки его воле: "Пииты называются еще и Прорицателями. Древнии предали, что они о будущем предвозвещали, бывши наполнены иногда Божественным духом"<sup>14</sup>.

Ломоносов сравнивает "догадки" Миллера и Байера с видениями "идольского жреца", окурившего себя беленой и дурманом. Как "трезвое пианство" или "странное пианство" описывал свой одический восторг Тредиаковский. Ломоносов в своих одах говорил о восторге как "приятном сне" и "бодрой дремоте", которая "открыла мысли явный сон"; погружение в состояние восторга Ломоносов уже в оде 1739 г. изобразил как опьянение особого рода ("волшебной дали мне воды, / Испей и все забудь труды"). Традиционной темой пародии на оду Ломоносова и на оду вообще было описание вдохновения одо-

писца или как вздора, который несет нетрезвый поэт, или как его сновидений<sup>15</sup>.

Таким образом, Байер и Миллер для Ломоносова выступают в своих исторических сочинениях не как историки, а как восторженные поэты. Сам Миллер, видимо, в определенных ситуациях связывал труд историка с особым вдохновением. Так, он говорит о Ломоносове: "Не думает ли он, что *от воли историка зависит писать, что ему захочется?*" (VI, 67). В другом случае, когда Ломоносов довольно грубо указывал, что "Байер в бредовом состоянии опрокинул основание, на котором Петр Великий установил орден св. апостола Андрея" (VI, 56). Миллер в ответ на это пишет: "Неужели на вас, Ломоносов, и вам подобных посмотрел бы тот, кого горячо любили за его *божественный талант*" (VI, 59). То есть противники прекрасно понимают друг друга: Ломоносов указывает, что исторический факт, добытый путем "догадки" — в состоянии "восторга" ("в бредовом состоянии"), не является таковым. Миллер же настаивает на том, что занятия историей требуют особого "божественного таланта".

Кроме того, в процессе полемики Миллер, видимо, апеллировал к своему особому душевному состоянию. Когда в 1757 г. Ломоносов выступил с требованием запретить печатание некоторых материалов в "Ежемесячных сочинениях" (журнале, который редактировал Миллер), то в своем рапорте по этому поводу он указывал, что Миллер употребляет в этом деле "всякие ябеднические происки". Среди этих "происков" он называет и то, что Миллер "впасть может опять в *ипохондрию*. Сие обыкновенное его извинение употребляет всегда в защищение своих нахальных поступков" (X, 194). Ломоносов указывает также на то, что Миллер (как и Байер) стремится выдвинуть на первый план свои личные достоинства. "Старается Байер, — пишет он, — не столько о исследовании правды, сколько о том, дабы показать, что он знает много языков и читал много книг" (VI, 31). Практически все участники полемики о варягах отмечали претензии Миллера на роль, которая не соответствовала статусу академического историографа, и указывали, что он

ведет себя "важному историографу непристойным образом" (VI, 20).

Антиох Кантемир, как уже было указано, принадлежал к кружку Делиля. Кроме того, в период обучения при Академии наук он был довольно близок с Байером и после переезда в Москву переписывался с ним в самом почтительном тоне<sup>16</sup>.

В сатирах Кантемира сохранился ряд намеков на эти академические увлечения. Так, Н. И. Невская обратила внимание на то, что в III сатире Кантемир точно воспроизводит рассуждения Байера, помещенные в "Китайском музее". Речь идет о стихах Кантемира:

О, если бы сей муж был в египетском роде,  
Где всяк себе изберет бога по природе,  
Где иной собак, иной кошек почитает,  
Ин — чеснок, что сад его рождает<sup>17</sup>.

У Байера "фигурировали тот же чеснок, кошки и собаки, которыми поклонялись древние египтяне"<sup>18</sup>.

Однако к моменту создания сатиры Кантемир не был единомышленником Байера и других участников кружка, как считает Невская. При всем почтении к своим учителям и, видимо, искренней увлеченности идеями Делиля и Байера в годы учебы при Академии наук, контекст, в который помещен в сатире Кантемира приведенный отрывок, указывает на критическое отношение автора к деятельности кружка<sup>19</sup>. В сатире слова о египетских верованиях произносит пьяница:

Клитес жалок и смешен, словом, *подпить* любит <...>  
До тех пор с *похмелья* он, пока с *сна проснется*;  
Редко в вечер ложится, пока не напьется;  
Весь день *философствует*, показуя ясно,  
Что есть пусто в твари: что спорит — врет напрасно<sup>20</sup>.

Комментарий самого Кантемира к последнему стиху показывает, что пьяница Клитес рассуждает о материях, которые обсуждаются в это время в Академии. "Епикур, древний философ, — пишет Кантемир, — основание всей твари полагает в атомах <...> да в порожности <...>. Сему богопротивному мнению многие из тех же древних философов противились, говоря, что нет порожнего или пустого в твари"<sup>21</sup>. Проблема-

тика, очерченная Кантемиром в комментарии, прямо перекликается со спорами вокруг имени Ньютона, которые велись и в стенах Академии наук в Петербурге<sup>22</sup>. Для нас же важно, что пьяный философ III сатиры прямо отсылал читателя к академическим спорам.

К теме Академии наук, но уже прямо критически, Кантемир обращается и в IX сатире. Он пишет:

Вон дивись, как учений заводят заводы:  
Строят безмерным коштом тут палаты славны;  
Славят, что учения будут тамо главны;  
Тщатся хотя именов умножить к ним чести  
(Коли не делом); пишут печатныя весты:  
“Вот завтра учения высоки зачнутся,  
Вот уж и учителя заморски соберутся:  
Пусть как можно скоро всяк о себе радеет,  
Кто оных обучаться заботу имеет”.  
Иной бедной, кто сердцем учиться желает,  
Всеми силами к тому скоро поспешает,  
А пришел, комплиментов увидит не мало,  
Высоких же наук там стены не бывало.  
А деньги хоть точатся тут бесперерывно,  
Так комплиментов много с них, то и не дивно<sup>23</sup>.

“Комплименты” здесь, по всей видимости, — панегирическая продукция Академии наук. За этими внешними проявлениями готовности трудиться на благо Империи, академики забыли, по мнению Кантемира, о замысле Петра — учить русских студентов.

Возможно, к критике академических занятий можно отнести и еще один эпизод IX сатиры:

Философ деревенский оброс сединами.  
Сладкими рассуждает о свете речами.  
“Как, говорит он, теперь чорт показал моду  
Грех велик творить, то есть *табак пить* народу,  
От которого весь ум человек темнеет  
И мозг в голове весьма из дня на день тлеет; <...>”.  
То он же обличает в людях моду грубу,  
А себе четверником сам валит за губу<sup>24</sup>.

И в III, и в IX сатирах Кантемира прямые или косвенные отсылки к Академии наук сопровождаются, таким образом, ироническим описанием “божественного восторга”: в первом случае Кантемир описывает восторг как склонность к горячительным напиткам и сон, во втором — как употребление напитка из табака в качестве наркотического средства. То есть академический кружок Делиля представляется Кантемиру как собрание “заморских учителей”, возмнивших себя избранными, “вдохновенными” гениями, которые не отделяют своих панегирических упражнений от “высоких наук” и не хотят опускаться до преподавания.

Ломоносов неоднократно высказывал аналогичные обвинения в адрес и Миллера (“будучи профессором тридцать лет, никогда лекций не читывал” — X, 548), и других академиков (X, 280 и др.). Похожее мнение об Академии наук находим и в записках о России X.-Г. Манштейна: “Эта академия не так устроена, чтобы Россия могла когда-нибудь ожидать от нее хотя малейшей пользы, так как в ней не занимаются преимущественно изучением наук <...> полезных для России; вместо того <...> разрешают критические задачи о жилищах и языке *какого-нибудь древнего народа* <...>. Академия наук, стоящая <...> таких больших сумм и не приносящая никакой существенной пользы”<sup>25</sup>. Можно, видимо, говорить о том, что когда Ломоносов вернулся в Петербург, уже распространено было мнение о том, что Академия наук не выполняет своей основной функции, что академики занимаются бесполезным изучением языческих культов, заискивают перед императрицей и двором в панегирических сочинениях<sup>26</sup> и ведут себя как вдохновенные гении.

Вернемся к полемике. Один из основных упреков Миллера, высказанных в ее ходе, состоял в том, что Ломоносов использует в качестве аргумента понятие “вероятности”. “Полагаю. — писал Миллер. — что он сошлется на *вероятность*, что так могло произойти; но эта *вероятность*, обязанная своим возникновением *лишь остроумию* Ломоносова, совсем не существует. Мне, наоборот, кажется весьма невероятным <...>. Единственная защита гипотезы заключается в ее возмож-

ности — способ доказательства, вообще характерный для моих противников. Но как смешотворно и *противно логическим правилам заключать от возможности к действительности!*” К последним словам Ломоносов приписал: “Что везде и делает Миллер” (VI, 55–56).

Здесь Миллер, во-первых, апеллирует к широко цитируемому в XVIII в. суждению Аристотеля об отношении возможного и действительного (“Вполне допустимо, что нечто, хотя и может существовать, однако не существует”<sup>27</sup>). Ломоносов в приписке, как мы видели, отводит данное обвинение и подчеркивает, что именно он, в отличие от Миллера, следует аристотелевскому закону и не допускает “заключать от возможности к действительности”. Показательно и то, что с точки зрения Миллера проблема отношения возможного и действительного, видимо, принципиально не отличается от вопроса об оценке вероятности события.

Значимо и само обращение Миллера к Аристотелю. Аристотель в “Поэтике” указывал, что история не является наукой, так как предмет науки — общее, а истории — единичное<sup>28</sup>. Именно он, как указывал Г. Шпет в работе “История как проблема логики”, положил начало представлению об истории как искусстве, взгляду на нее “преимущественно как на вид литературной деятельности, и эта мысль осталась господствующей во французском Просвещении”<sup>29</sup>.

Другим авторитетом Миллера был Цицерон: Миллер ссылался на “основной исторический закон, который предписан Цицероном” (VI, 68). Речь здесь идет об опять же широко цитирувавшемся историками XVII–XVIII вв. рассуждении из трактата “Об ораторе”. “Какую, по-вашему, задачу ставит для оратора история? — пишет Цицерон. — Пожалуй, прежде всего — плавность и разнообразие речи. Но по этой части ведь даже нет никаких особых риторических правил: они и без этого очевидны. Кому же неизвестно, что *первый закон истории* — ни под каким видом не допускать лжи”. Далее следуют рекомендации “держаться последовательности времени”, “давать картину обстановки”, писать “сначала о замыслах, потом

о действиях” и “дать понять, что в них писатель одобряет” и т. д.<sup>30</sup>

“Старейшие рассуждения о приемах исторической работы и исторического рассказа. — пишет А. С. Лаппо-Данилевский в книге “Методология истории”, — сохранились именно в трактатах об ораторском и поэтическом искусстве. В своем рассуждении Цицерон, например, указывал на то, что “создание истории предполагает изучение предмета”, его оценку и “искусство изложения”. <...> Такое направление легко усмотреть и в позднейшей литературе”. Даже в конце XVII в. автор трактата “Об истории” (1670) Лемуан “указывает на то, что историк должен быть поэтом: без поэтического дара он не будет в состоянии дать художественное изображение прошлого в историческом рассказе”<sup>31</sup>.

Миллер, таким образом, придерживается традиционных взглядов на труд историка и довольно безразлично относится к философской терминологии. Активное обращение к ней вызывает у Миллера несколько ироническое отношение. Развивая свои обвинения, он, как мы видели, пишет, что построения Ломоносова основаны на понятии “вероятного”, указывает на субъективный характер этого понятия (подчиненного “лишь остроумию Ломоносова”) и специально подчеркивает относительный характер оценки факта как вероятного или невероятного (“мне, наоборот, *кажется* весьма невероятным”).

Этого обвинения (в отличие от обвинения в неразличении возможного и действительного) Ломоносов не только не отвергает, но и в процессе полемики с Миллером, и в своих исторических сочинениях (“Древней Российской истории” и “Кратком Российском летописце”) сам неоднократно использует понятие “вероятности”. Приведем некоторые примеры:

“О грамоте, данной от Александра Великого славенскому народу, повествование хотя *невероятно* кажется <...> однако здесь об ней тем упоминаю, которые не знают, что, кроме наших новгородцев, и чехи оною похвалялись” (VI, 189);

“Владетели и здатели городов в пределах российских известные <...> у славян новгородских по летописцу — Славен и Рус. И хотя в оном летописце сначала много есть известий *невероятных*, однако всего откинуть невозможно” (VI, 296);

“Рюрик мог быть коего-нибудь Августа, сиречь римского императора, сродник. <...> Вероятности отрещись не могу, достоверности не вижу” (VI, 170);

“О смерти его <Олега. — Е. II.> дивное осталось повествование, вероятность по мере древности имеющее” (VI, 225);

“Пятьдесят правителей земли Древлянской без укушения приехали в Киев. Спросили ль о своих прежних посланцах, ничего о том не упоминается. Здесь что-нибудь Нестором упущено; без того *невероятна* больше кажется древлянская оплошность” (VI, 232);

“*Маловероятное* обстоятельство при крещении сея государыни повествует Нестор, то есть о пленении любовию греческого царя” (VI, 236; речь идет о крещении Ольги, которой к этому моменту, по подсчетам Ломоносова, было более 60-ти лет) и т. п.

Приведенные примеры показывают, что Ломоносов регулярно использует понятие вероятности для оценки того или иного факта, что вероятность факта для него соотносена с понятием достоверности и, кроме того, вероятность оценивается в том числе через соотношение факта с представлением о нормальном течении вещей (старуха не может быть предметом любовной страсти, новое посольство не посылают, не узнав о судьбе предшествующего, и т. п.).

Ю. М. Лотман, характеризуя позицию Ломоносова-историка, писал: «Даже такие неприкрыто тенденциозные сочинения, как “Сказание о князьях Владимирских” и “Степенная книга”, воспринимались с полным доверием не только людьми, находившимися во власти средневеково-церковной традиции, но и Ломоносовым, сама суть позиции которого как ученого состояла в отрицании догматики и в апологии критического разума и опытного знания. Стремление строить выводы не на основании “пустых умозрений”, а базируясь на фактах, опыте, составляло основу позиции Ломоносова-ученого. Этот метод он применял не только в физике и химии, но и в гуманитарных науках. <...> Однако в области исторической науки это же стремление приводило не к критике текстов и источников, а, напротив, к безусловному к ним доверию. По отношению к “умозрениям” политических доктрин XVIII в. каждый исторический документ выступал как “опыт”, фактический материал

и требовал такого же безоговорочного учета, как и любой физический эксперимент»<sup>32</sup>.

Но труд историка и труд естествоиспытателя-экспериментатора были соотносимы для Ломоносова еще и потому, что в обоих случаях речь часто шла о явлениях, которые недоступны непосредственному чувственному наблюдению (военные походы Олега так же невозможно наблюдать историком, как физику или химику — поведение корпускул).

В заметках “по физике и корпускулярной философии”, которые были написаны в 1741–1743 гг., Ломоносов писал: “В деле, столь глубоко скрытом и *непосредственно недоступном чувствам*, я постараюсь двигаться самым осмотрительным образом <...>. Я не признаю никакого измышления и никакой гипотезы, какой бы *вероятной она ни казалась*, без точных доказательств, *подчиняясь правилам, руководящим рассуждениями*. Сам Вольф писал о свободе философствования (я ему многим обязан)” (I, 115).

Рассуждение это показательно во многих своих деталях. Во-первых, интуитивная оценка вероятности (“казаться”) рассматривается тут как возможное (но недостаточное, с точки зрения молодого ученого) основание научной гипотезы. Следующим этапом доказательства является следование “правилам, руководящим рассуждениями”, оценка этой вероятности не на основании того, что исследователю “кажется”, а по определенным правилам (их Ломоносов характеризует как “свободу философствования” и связывает с именем Вольфа).

В другом случае Ломоносов уточняет эту мысль: “Один *опыт* я ставлю выше, чем тысячи мнений, рожденных только *воображением*. <...> Те, кто собираясь извлечь из опыта истины, не берут с собой ничего, кроме собственных *чувств*, по большей части должны остаться ни с чем: ибо они <...> не умеют воспользоваться тем, что видят или постигают при помощи остальных *чувств*” (I, 125). Как мы видим, широко известное начало этого рассуждения (“опыт я ставлю выше, чем тысячи мнений”) не является его смысловым центром: Ломоносов говорит не столько о приоритете опыта, сколько о том, что сам по себе опыт есть лишь чувственное знание, для по-



стижения же истины необходима еще способность воспользоваться опытными данными. Показательно, что чувство и воображение оцениваются здесь достаточно низко: или как только исходные этапы научного исследования, или как форма заблуждения.

В целом же, как мы видим, и опытное знание, и вероятностное одинаково могут быть основанием и для заблуждения, и для истинного суждения, с точки зрения Ломоносова. Важным этапом на пути к истине является "способность воспользоваться" этими данными.

Проблема вероятностного знания и оценки его достоверности впервые была поставлена в работах Лейбница. "За пределами нашего наличного ощущения, — указывал Лейбниц, — не существует познания, а есть лишь вероятность"<sup>33</sup>. Однако "мнение, основанное на вероятности" заслуживает "название знания": к такому типу знания Лейбниц относит среди прочих и "историческое познание" и определяет его как "искусство определения правдоподобия"<sup>34</sup>. Вслед за Лейбницем Х. Вольф указывал, что в историю нельзя проникнуть априорно. Именно под влиянием Лейбница, как указывает Лаппо-Данилевский, "возникли и старейшие из попыток построить методологию истории"<sup>35</sup>. Большое внимание историческому знанию уделяли уже Вольф и младший современник Вольфа Хладениус, специальные работы которого по "историке" были опубликованы в 1742–1757 гг. Работ Хладениуса Ломоносов, по всей вероятности, не знал<sup>36</sup>, но система Лейбница и ее интерпретация Вольфом были хорошо известны Ломоносову (он слушал лекции Вольфа не только по математике, но и по философии). Именно в рамках этой школы Ломоносов, отчасти следуя Лейбницу и Вольфу, отчасти сам достраивая их положения, формировал свои представления об изучении истории. В этой связи следует подробнее остановиться на позиции его непосредственных предшественников.

В работе "О способе отличия явлений реальных от воображаемых", где речь не идет непосредственно об историческом познании, но ставится смежная проблема достоверного знания, которое не может быть "удостоверено непосредственным

восприятием"<sup>37</sup>. Лейбниц пишет: "Если бы мы увидели людей, восседающих на гиппогрифах Ариосто, я думаю, мы усомнились бы, спим мы или бодрствуем". В этой ситуации "наиболее надежным признаком" для "определения достоверности" является согласие видимого "со всем ходом жизни, в особенности если большинство других людей подтверждает, что то же самое согласуется с их явлениями"<sup>38</sup>. И продолжает: "Даже если бы сказали, что вся эта жизнь не более, чем сон, а наблюдаемый мир не более чем фантазма, то я бы ответил, что этот сон и эта фантазма были бы достаточно реальны, если бы мы, хорошо пользуясь разумом, никогда не обманывались ими" (ниже Лейбниц добавляет "так, кажется, полагали платоники", распространяя способность человеческого разума к отделению "реального" от "воображаемого" и на случай, когда "сон" получает онтологические характеристики)<sup>39</sup>. Чтобы определить достоверность любого явления, Лейбниц вводит понятие вероятности. Вероятность же факта есть согласие его "со всем ходом жизни". Для нашего рассуждения показательно то, что Лейбниц указывает на прямую связь своих рассуждений с историческим познанием: "Благодаря всему этому подтверждается священная и гражданская история"<sup>40</sup>.

В "Новых опытах о человеческом разумении" Лейбниц, в связи с проблемой в том числе и исторического знания, благодаря которому "мы уверены в том, что Константинополь существует на свете, что Константин, Александр и Юлий Цезарь существовали"<sup>41</sup>, вновь развивает тему сна. В этой сфере "Можно было бы назвать достоверностью такое познание истины, при котором нельзя, не будучи безумным, сомневаться в нем по отношению к практике". В противном случае можно говорить о "серьезном умственном расстройстве"<sup>42</sup>. Такое "безумие" и "умственное расстройство" Лейбниц описывает как неспособность отличить сон от реальности: "Если кто-нибудь думает, что все это лишь один долгий сон, то он, если ему угодно, может слышать во сне следующий ответ с моей стороны". Ответ же заключается в предложении подержать палец над пламенем свечи: разумной реакцией будет — отдернуть палец. "Если наш сновидец не сделает этого, он скоро про-

снется"<sup>43</sup>. К теме сна именно в указанной связи Лейбниц возвращается неоднократно<sup>44</sup>.

Вслед за Лейбницем, Вольф, говоря об истории, указывал, что "истина отличается от сновидения порядком"<sup>45</sup>, и подробно развивал "закон достаточного основания" как инструмент для определения достоверности исторического знания. «Благодаря достаточному основанию, — писал он в "Логике", — создается различие между истинным миром и иллюзорным»<sup>46</sup>.

Достаточное основание противопоставляется Вольфом в "Онтологии" произволу "человеческой воли": "Мы может констатировать наличность причин того, что существует и в мире сказочном, но их нельзя объяснить понятным образом, почему, когда полагается одно, должно быть другое, и роль разумного основания здесь, в мире сказочном, играет человеческая воля"; если же "делать выводы, принимая человеческую волю или произвол за разумное основание, мы можем разойтись с действительным повествованием"<sup>47</sup>.

Сон становится у Вольфа своего рода аналогом для знания, основанного только на человеческом произволе. "Истина вещей, — пишет он, — противопологается сну"; "во сне все возникает без достаточного основания и остается место для противоречий, в истине вещей всякая вещь есть или возникает с достаточным основанием и здесь нет места противоречиям"<sup>48</sup>.

Как мы видим, в рамках указанной традиции сон и безумие становятся устойчивыми образами для описания знания, основанного на "человеческой воле" или "произволе". При сравнении Байера и Миллера с языческим жрецом, который "окурил себя беленой и дурманом", Ломоносов стремился подчеркнуть, что Миллер, взяв на себя смелость следовать своему чувству, эрудиции или интуиции при определении достоверности, уподобляется "сновидцам" Лейбница и Вольфа.

В этом контексте особый интерес приобретает ряд характеристик, которые Ломоносов относит к Миллеру. Вместо того, чтобы привести ясные аргументы, Миллер, по мнению Ломоносова, "справляет великолепный триумф над *тепями* и *сновидениями*" (VI, 52). В другом случае Ломоносов указывает, что в своем сочинении Миллер "показал пристрастие к своим не-

основательным догадкам, полагая за *основание* оных такие вымыслы, которые чуть могут кому *во сне* привидеться" (VI, 37). И использования слов "основание" и "неосновательный", и упоминание сна сразу ставит это рассуждение в контекст лейбнице-вольфианских построений ("достаточное основание").

В этом же контексте, видимо, следует рассматривать и полемические выпады Ломоносова против Миллера по вопросу о "сказках" (сказка, как мы видели, была синонимом "сна" у Лейбница и Вольфа и знаменовала торжество индивидуальной воли над вероятностной логикой). В ответ на обвинения Ломоносова в использовании скандинавского источника, который "состоит из нелепых сказок о богатырях и колдунах", Миллер писал: "Начало истории <...> полно сказками <...>. Кто не видит, что это следует относить не ко всей истории датчан и норвежцев, но только к тому, что я *перечислил* в первую очередь как *наиболее сомнительное*? <...> Прочее — в соответствии с хронологическими соображениями, с характером народов, <...> в достаточной степени достоверно и никем (как это делает Ломоносов) из сведущих в этих вопросах не относится к разряду сказок. То, что он говорит о богатырях и колдунах, — совсем пустое. Они *встречаются* в очень *незначительном количестве*" (VI, 72–73). Таким образом, в определении достоверности факта Миллер демонстративно обращается к своему чувству, своей интуиции, своему "божественному таланту".

За понятием "восторга историка", который Ломоносов, в соответствии со сложившейся традицией описания петербургских академиков, уподобляет гаданию "идольского жреца", стоит, как мы видели, дискуссия о природе исторического знания и путях определения его достоверности. Миллер стремился понять смысл известий, которые он находил в русских летописях. Он исходил из того, что всякий исторический источник требует "расшифровки", то есть методики, которую использовал Байер в "Китайском музее" или работе "О варягах". Путь этот вел к проблеме *критики источника*.

Ломоносов, по аналогии с естественными науками, ставил задачу *критики факта*. Он требовал проверки факта всем хо-

дом вещей: “противно всякой логике” было полагать, что “россы” в X в. были скандинавами, а в XVIII в. стали славянами; что апостол Андрей никогда не посещал Руси, тогда как Петр Великий учредил “кавалерский орден” его имени, а указом Елизаветы Петровны строится каменная церковь на месте, где он некогда поставил крест.

Такая позиция Ломоносова вовсе не означала, что восторг был для него только одической условностью. Напротив, и научные труды Ломоносова, и его панегирические произведения дают материал для того, чтобы говорить о том, что эта категория имела для Ломоносова философскую конкретность и возводилась им к “нравственной” философии Платона<sup>49</sup>. Истинный восторг, по Ломоносову, доступен только монарху или истинному философу. Для истинного философа восторг — “нечто вроде прорыва, который делает его способным достигнуть знаний, до каких никогда не доходят умы низменных и пресмыкающихся во прахе” (III, 231). Миллера Ломоносов относил к последней категории “умов”, так же как всякого “поэта”, который ограничен рамками своих суждений и мнений и не способен постичь “истинный” ход вещей.

Дискуссия Ломоносова с Миллером, таким образом, переносила вопрос об историческом знании в новое теоретическое измерение. Для русской историографии XVIII в. характерна совсем иная постановка проблемы работы с историческим фактом. Ярким примером ее являются, например, труды по русской истории В. Н. Татищева, который первым из историков России столкнулся с тем, что различные летописи дают отличающиеся друг от друга сведения. Татищев был уверен, что некогда существовал полный и “правильный” летописец, но со временем он подвергался все большей и большей порче в процессе переписки. Задачей историка в такой ситуации было воссоздание на основе известных летописей исходного текста. И Татищев создал гигантскую по своим масштабам компиляцию, отбирая варианты в соответствии со своими представлениями (и часто со своим опытом политика, администратора и участника целого ряда военных кампаний) о том, каким был ход русской истории. При этом он давал свой извод текста,

если ни один из имевшихся в его распоряжении сводов не удовлетворял “разумному” взгляду<sup>50</sup>. Такие представления о труде историка разделял уже Петр I. В своей “Истории” князь Щербатов указывал: “Еще прежде император Петр Великий имел намерение о напечатании *единого вернейшего летописца*: чего ради для исправления по разным спискам оно и собраны были многие в Типографскую книгохранительницу в 1703 году, яко сие засвидетельствовано самой надписью на тех летописцах”<sup>51</sup>.

Интересным подтверждением размышлений Ломоносова над проблемой исторического знания является предисловие к сочинению по истории России А. Г. Контана д’Орвиля.

В конце 1750-х – начале 1760-х гг. А. Г. Контан д’Орвиль посетил Петербург. Впоследствии им была составлена книга “Летописи королевства Польского и Российской империи”, предисловие к которой он полностью посвятил описанию своей встречи с Ломоносовым<sup>52</sup>. Здесь Контан д’Орвиль, настаивая на том, что память его “достаточна верна, чтобы передать без искажений”, воспроизводит слова Ломоносова. “Я иду, — говорит у него русский историк, — по извилистому лабиринту и не нахожу никакой путеводной нити. <...> Так ли уж плодотворны наши изыскания о происхождении народов? Наши *мнимые* открытия могут оказаться лишь простыми *догадками*, собирая которые, мы пытаемся придать себе репутацию *эрудитов* и утвердить схему, выстроенную в кабинете. <...> Но, решив дать публике полную историю моей нации, я должен был собрать все, что показалось мне если не самым *достоверным*, то, по крайней мере, наиболее *правдоподобным* по своему происхождению. <...> Вот до чего можно дойти, создавая историю империи: приходится долго блуждать в *догадках* прежде, чем собрать плоды истины”<sup>53</sup>. Терминология, переданная д’Орвилем, отсылает к претензиям, которые Ломоносов в полемике о варягах предъявлял Миллеру. В разговоре с ученым иностранцем, интересующимся историей России, Ломоносов относит их к себе, блуждающему “по извилистому лабиринту” в поисках исторической истины.

Подведем некоторые итоги.

Приведенные материалы дают возможность говорить о существовании в русской историографии середины XVIII в. по крайней мере трех взаимодополняющих концепций. Так, если Татищев стремился отыскать или реконструировать на основании доступных ему летописей идеальный исторический источник, то Ломоносов и Миллер шли иным путем — путем “исторической критики”. Миллер ставил задачу *критики источника*, отождествляя ее со способностью историка постичь смысл летописного текста. Ломоносов, напротив, ставил задачу *критики факта*. Цепочки, начало которым положено историческим событием даже в глубокой древности, по Ломоносову, заканчиваются в настоящем, ведут в “действительному”. То есть он “не заключает от возможного к действительному”, а по действительному (современному) положению вещей судит о возможности (“вероятности”) всякого исторического факта.

Очерченные выше особенности полемики Ломоносова и Миллера указывают на существование в русской культуре середины XVIII в. круга тем, которые представляли в позитивном или негативном смысле положения, сформулированные в 1730-е гг. в стенах Академии наук. Эта тематика, видимо, независимо от интенций участников кружка Делиля, получила особое значение в русской культуре последующей эпохи. В первую очередь, сюда следует отнести представление о том, что круг исторической проблематики далеко не замыкается на истории христианских народов как фазе, следующей за историей античного языческого мира. План составления генеральной истории астрономии подчеркивал роль арабских стран, Китая и т. п. — именно “неисторических” народов и их религий в развитии науки. Для России этот факт получал неожиданную актуальность: он был потенциальным основанием для того, чтобы превратить существование “языческих подданных” в факт идеологии Российской империи. А это, в свою очередь давало возможность сформулировать концепцию полиэтничного и поликонфессионального характера Российской империи. Ломоносов строил историю России как историю славян (и видел в варягах тех же славян). Поэтому для него идея скандинавского происхождения “варягов” парадок-

сальным на первый взгляд образом оказывалась близкой всей деятельности кружка Делиля. Для Миллера же именно этот круг интересов лег в основу его работ о народах Сибири и Поволжья, апогей актуальности и популярности которых приходится именно на екатерининскую эпоху, когда именно полиэтничный и поликонфессиональный характер Российской империи становится неотъемлемой частью официальной идеологии.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> *Каменский А. Б.* Судьба и труды историографа Г. Ф. Миллера (1705–1783) // Миллер Г. Ф. Сочинения по истории России. Избранное. М., 1996. С. 383–384. Такая трактовка полемики получила в последние годы достаточно широкое распространение. Так, Д. Н. Шанский в недавней работе также указывает, что “Горючо любивший свою страну, гениальный помор <...> не мог примириться с миллеровской мыслью о том, что история — наука” (*Шанский Д. Н.* Запальчивая полемика: Герард Фридрих Миллер, Готлиб Зигфрид Байер и Михаил Васильевич Ломоносов // *История России. XVIII – начало XX века.* М., 1996. С. 36). Близкую позицию в вопросе о полемике занимает Т. В. Артемьева (*Артемьева Т. В.* Русская историография XVIII века. СПб., 1996. С. 20–24). Как продукт политики русификации начала правления Елизаветы Петровны рассматривает полемику Ломоносова с Миллером J. L. Blak (*Blak J. L.* G.-F. Müller and the Imperial Russian Academy. McGill-Queen’s University Press. Kingston and Montreal. 1986. P. 97, 102 и др.).
- <sup>2</sup> Вопрос об идеологическом давлении также нельзя считать решенным уже хотя бы потому, что и Ломоносов, и Миллер в одинаковой степени испытывали это давление. Некоторым аспектам проблемы политической конъюнктуры и вопросу патриотизма историка (подданства и присяги, национального самосознания историка, отношения исторического труда к официальному заказу и служебным обязанностям и др.) посвящена наша статья “По присяжной моей должности, как верному сыну отечества надлежит...”. Ломоносов в полемике с Миллером // *Тыняновский сборник* (в печати).
- <sup>3</sup> Сочинение Байера “О варягах” было напечатано в I части академических “Комментариев” за 1728 г.

- <sup>1</sup> *Певская Н. П.* Петербургская астрономическая школа XVIII в. Л., 1984. С. 166.
- <sup>2</sup> Там же. С. 185–186.
- <sup>3</sup> Там же. С. 184–185.
- <sup>4</sup> Обзор этих материалов и анализ ряда описаний жертвоприношений и культовых сооружений дан в книге: *Элерт А. Х.* Экспедиционные материалы Г. Ф. Миллера как источник по истории Сибири. Новосибирск, 1990.
- <sup>5</sup> Описание живущих в Казанской губернии языческих народов <...> сочиненное Герардом Фридрихом Миллером. Императорской Академии наук профессором по возвращении его в 1743 году из Камчатской экспедиции. СПб., 1791. В 1761 г. Ломоносов в “Представлении президенту Академии наук о неправильных действиях Г.-Ф. Миллера и И. И. Тауберта” писал, что Миллер в своих сочинениях “всевае по обычаю своему занозливые речи”: “Например, описывая чувашу, не мог пройти, чтобы их чистоты в домах не предпочесть российским жителям. Он больше всего высматривает пятна на одежде российского тела, проходя многие истинные его украшения” (X, 232). Речь идет об отрывке названного сочинения Миллера. Оно было впервые напечатано в 1756 г. в “Ежемесячных сочинениях”, но поскольку Миллеру неоднократно приходилось отчитываться о результатах его работы по описанию экспедиции, можно с очень большой степенью вероятности предположить, что Ломоносов с этим трудом Миллера был знаком и ранее. Тем более, что по возвращении Миллера из экспедиции отношения их с Ломоносовым были хорошими. В “Краткой истории о поведении Академической канцелярии” Ломоносов писал о хлопотах Гнедина для отъезда из России: “Президент и склонился, если он даст надежных поручителей. Первый сыскался друг его профессор Миллер и в товарищи склонил к себе профессора Ломоносова, который сколько ласканием Миллеровым, а больше уверился словами покойного Крашенинникова” (X, 280). Гнедин в Петербург не вернулся.
- <sup>6</sup> Описание живущих в Казанской губернии языческих народов. С. 49–53.
- <sup>7</sup> Ломоносов неоднократно упоминал этот период жизни Миллера, предлагая, например, в связи со скандалом вокруг переписки Дедлиля и Миллера, вновь послать последнего на “соболиную ловлю” (X, 551).
- <sup>8</sup> Он писал, что бухарские купцы привозят “китайский табак столь мелкой резки, что по тонкости волокон может поспорить с чело-

- вечским волосом. <...> Табак этот бывает цвета темного, светлого и зеленого. Темный имеет самый приятный запах и опьяняет сильнее других сортов, так что те, у кого голова слаба, должны от него воздерживаться. Как говорят, табак этот разваривают в сахарном растворе. Китайцы и перенявшие у них русские удивительно упиваются табачным дымом, так что они падают в обморок и как бы подвергаются судорогам; многие вследствие того даже испускают дух. Впрочем, китайцы, наученные опытом, умеют избежать такой опасности; у них есть маленькие медные трубочки с отверстием величиной с половину скорлупы лесного ореха. Набить и выкурить такую трубочку вследствие ничтожности приема не представляет никакой опасности” (*Пушкарев Л. Н.* Юрий Крижанич. Очерк жизни и творчества. М., 1984. С. 177).
- <sup>12</sup> Нас в данном случае не будут интересовать те различия, которые существовали, например, в понимании восторга Ломоносовым и Тредиаковским. Ломоносов в полемике с Миллером, без сомнения, указывает лишь на самые общие признаки восторга.
- <sup>13</sup> Ода торжественная о сдаче города Гданска, сочиненная <...> чрез Василья Тредиаковского, санктпетербургской императорской Академии наук секретаря. СПб., 1734.
- <sup>14</sup> *Тредиаковский В. К.* Мнение о начале Поэзии // Тредиаковский В. К. Сочинения. СПб., 1849. Т. I. С. 182–183.
- <sup>15</sup> Крепчайших вин горю в жару,  
Во исступлении пылаю <...>  
Я Волгу обращу к вершине  
И, утомленный, лягу спать!  
  
Не сплю, но в бодрой я дремоте  
И наяву зрю страшный сон;  
  
В безоблачной стране песуся,  
Напившись Иппокренских вод, <...>  
О Бахусе, та ль награда мне?;  
  
Пришла кастанльских вод напиток обезьяна <...>  
И мыслила, сих вод напившись допыяна ...
- (Русская стихотворная пародия. Л., 1960. С. 97, 99, 102, 103).
- <sup>16</sup> Подробный обзор отношений Байера и Кантемира дан в книге: *Радовский М. И.* Антиох Кантемир и Петербургская Академия наук. М.: Л., 1959. С. 21 и след.
- <sup>17</sup> *Кантемир А.* Собрание стихотворений. Л., 1956. С. 384.
- <sup>18</sup> *Певская.* С. 187 и 192.

- <sup>19</sup> Показателен и тот факт, что Кантемир отказался от идеи опубликовать сочинения своего отца при Академии наук.
- <sup>20</sup> *Кантемир*. С. 384.
- <sup>21</sup> Там же. С. 513.
- <sup>22</sup> *Копелевич Ю. Х.* Забытые страницы “Примечаний на ведомости” // Наука и культура России XVIII в. Л., 1984. С. 46 и след.
- <sup>23</sup> *Кантемир*. С. 185.
- <sup>24</sup> Там же.
- <sup>25</sup> История России и дома Романовых в мемуарах современников XVII–XX. Перевороты и войны. М., 1997. С. 256–257.
- <sup>26</sup> Именно так характеризуются академические поэты в панегирических сочинениях, вышедших из круга воспитанников Сухопутного шляхетного корпуса. Подробнее об этом: *Погосян Е.* Восторг русской оды и решение темы поэта в русском панегирике 1730–1762 гг. Тарту, 1997. С. 64 и след.
- <sup>27</sup> Метафизика. IX. 3. 1047а. 23–26 (*Аристотель*. Сочинения: В 4 т. М., 1976. Т. 1).
- <sup>28</sup> В. К. Тредиаковский в работе “Мнение о начале Поэзии” приводит слова Аристотеля: “Стих и Проза не различают историка с пиитом; ибо хотя Геродотова История и стихами будет сочинена; однако она всегда будет, как и прежде, Историею. Но сим они между собою рознятся, что Историк деяния како были, а Пиит, как оныя быть могли, предлагает” и поясняет “быть могли” как “долженствуют” и соответствуют “по вероятности” “правде” (*Тредиаковский В. К.* Сочинения. С. 182).
- <sup>29</sup> *Шнет Г.* История как проблема логики. М., 1916. С. 246, 252.
- <sup>30</sup> *Цицерон*. Эстетика. Трактаты, речи, письма. М., 1994. С. 239–240.
- <sup>31</sup> *Лаппо-Данилевский А. С.* Методология истории. СПб., 1910. С. 19–20, 21.
- <sup>32</sup> *Лотман Ю. М.* “Слово о полку Игореве” и литературная традиция XVIII – начала XIX в. // Слово о полку Игореве — памятник XII века. М.; Л., 1962. С. 343. Действительно, летописный факт для Ломоносова не требует доказательств и подтверждений, а “сам собою стоять может” (VI, 39). Миллер же, по мнению Ломоносова, “с летописцами не сходствует”: “самовольно опровергает” известия русских летописей и замещает факты “догадками” (VI, 39).
- <sup>33</sup> *Лейбниц Г. Ф.* Сочинения: В 4 т. М., 1984. Т. II. С. 456.
- <sup>34</sup> Там же. С. 379.
- <sup>35</sup> *Лаппо-Данилевский*. С. 31.

- <sup>36</sup> Некоторые особенности в использовании терминологии и построении аргументации при обосновании вероятности того или иного факта у Ломоносова можно отнести на счет его знакомства с работой Ленглэ “Метод изучения истории” (1713). “Главное содержание методологической части его трактата, — пишет Лаппо-Данилевский, — сводится <...> к изложению оснований исторической достоверности; она заключается в личном наблюдении <...>, в несвязывающих сомнения документах <...>, и в согласии показаний заслуживающих доверия лиц” (*Лаппо-Данилевский*. С. 24); кроме того, Ленглэ полагает, что источники, которые “современны действиям”, достовернее отстоящих от события во времени (Там же). Ломоносов довольно часто ссылается именно на эти основания для определения достоверности факта: “Древнего о Славенске предания ничем *опровергнуть* нельзя <...> *Само собою стоять может*” (VI, 39); “Нашествие угров и разорение Славенска *согласуется со внешними историями*” (VI, 296); “Хотя о Гостомысле, последнем республиканском владетеле, по коего совету избран на княжение Рюрик, Нестор не упоминает, однако *о толь близком известии довольно утвердиться можно* на летописце новгородском” (VI, 296); “На сем сражении по Кедринуву *свидетельству* греки, по Нестерову — россияне верх одержали. Вернее всего, что победа *в сомнении* осталась” (VI, 245).
- <sup>37</sup> *Лейбниц*. Т. III. С. 110.
- <sup>38</sup> Там же. С. 111.
- <sup>39</sup> Там же. С. 112.
- <sup>40</sup> Там же. С. 114.
- <sup>41</sup> *Лейбниц*. Т. II. С. 457.
- <sup>42</sup> Там же. С. 456, 457.
- <sup>43</sup> Там же. С. 455.
- <sup>44</sup> “В рассуждениях людей часто замечается нечто странное, и все люди подвержены таким странностям <...>. Это скорее какой-то род сумасшествия, и люди в самом деле сошли бы с ума, если бы постоянно поступали таким образом. Этот недостаток происходит от неестественной связи идей, имеющей своим источником случай или обычай” (*Лейбниц*. Т. II. С. 270–271); “Истина чувственных вещей заключается только в связи явлений, которая должна иметь свое основание <...> именно это отличает их от сновидения” (Там же. С. 381).
- <sup>45</sup> *Шнет*. С. 177.
- <sup>46</sup> Там же. С. 186.
- <sup>47</sup> Там же. С. 187–188.

- <sup>48</sup> Там же. С. 188.
- <sup>49</sup> *Погосян Е.* Восторг русской оды. С. 92–100.
- <sup>50</sup> Сводку наблюдений ряда исследователей над тем, как работал Татищев, создавая II редакцию своего труда и вводя в текст известия из ныне неизвестных источников, сделал Я. С. Лурье (*Лурье Я. С.* История России в летописании и в восприятии нового времени // *Лурье Я. С.* Россия древняя и Россия новая. СПб., 1997. С. 43 и след.).
- <sup>51</sup> *Щербатов М. М.* История российская от древнейших времен: В 7 т. СПб., 1770. Т. I. С. X.
- <sup>52</sup> *Сомов А. В.* О некоторых откликах на перевод “Древней Российской истории” М. В. Ломоносова // *Ломоносов и книга.* Л., 1986. С. 153.
- <sup>53</sup> *Сомов.* С. 150–151 (перевод В. А. Сомова).

## ПУШКИН И ШАТОБРИАН

ЛАРИСА ВОЛЬПЕРТ

Проблема “Пушкин и Шатобриан” изучена основательно, но недостаточно. Вряд ли есть другой французский писатель, восприятие которого Пушкиным составило бы столь прихотливый рисунок, а само изучение творческой связи с которым оказалось бы столь драматичным. Поскольку оба писателя в своем идейном развитии претерпели сложную эволюцию, а отношение поэта к французу в конце жизни решительно изменилось, всеобъемлющая оценка пушкинского шатобрианства должна была бы объективно учитывать все составляющие сложной проблемы. Однако до сих пор в описании этой творческой связи ученые, как правило, акцентировали либо приоритет двадцатых годов, либо — тридцатых, что искажало целостную картину.

В библиотеке Пушкина хранилось 26-томное брюссельское издание Шатобриана (1826–1832), все тома с художественными произведениями разрезаны. У Пушкина 17 упоминаний о Шатобриане (кроме посвященной ему статьи), 6 — в художественных произведениях, 5 — в публицистических, 2 — в письмах, 2 — в комментариях, имеются также 2 цитаты. В “Евгении Онегине” французский писатель упоминается в связи с кругом чтения героев (“Любви нас не природа учит. А Сталь или Шатобриан” — VI, 546<sup>1</sup>; “Она влюблялась в обманы Шатобриана и Руссо” — VI, 568; “Он иногда читает Оле Нравоучительный роман Где скромный Автор [думал боле] О нравах [чем Шатобриан]” — VI, 362). Здесь находится также перефразированная цитата из Шатобриана (“Привычка свыше нам дана. Замена счастью она”), вскрытая самим Пушкиным в примечаниях: “Si j’avais la folie de croire encore au bonheur, je le chercherais dans l’habitude (Шатобриан — VI, 193)”<sup>2</sup>. Другая